



Фото Behrouz Jamali, декабрь 2016

Собираясь на встречу с культурологом и писателем Соломоном Волковым, я никак не ожидала, что человек, беседовавший со многими знаменитостями, чьи книги диалогов с Шостаковичем, Бродским, Баланчиним и Евтушенко стали уже культовыми, окажется замкнутым интровертом. Я узнала, что каждая такая беседа давалась ему с трудом, иногда, в буквальном смысле, потом и кровью. При этом, не в его стиле загонять собеседника в угол, пытаться извлечь «жареные» факты.

Евгений Евтушенко сам предложил ему встретиться незадолго до смерти, чтобы записать серию диалогов — их беседа превратилась то ли в исповедь, то ли в прием у психолога — старый больной писатель часто ложился на диван, а на соседнем приходилось располагаться Соломону и внимательно слушать его рассказы.

Волков не делает сиюминутные, эпатажные интервью, он — мастер глубоких, объемных мемуарных бесед и автор нескольких книг по истории культуры России.

Но сначала была музыка: Волков закончил Ленинградскую консерваторию по классу скрипки, где его одноклассником был Владимир Спиваков, до сих пор близкий и хороший друг. И хотя Волкову тоже прочили большое музыкальное будущее, он решил сменить смычок на перо и бумагу, став, как он сам любит себя называть, «объясняющим господином».

В своем интервью Владимиру Познеру, в самом конце беседы, Соломон внезапно ответил, что никогда не был счастлив и не знает, что это такое. «Как? На самом интересном месте»? — подумала я, когда на этих словах передача закончилась.

Я рада, что мне самой удалось встретиться с этим тихим интеллигентом в очках, который оказался страшным домоседом, совершенно неприспособленным к быту, сочиняющим смешные стишки в Фейсбуке, прикрываясь кличкой любимого им персонажа Кота Базилио, и попытаться вызвать на откровение того, кто привык задавать вопросы другим, и кому неведомо счастье...

Сначала была скрипка, потом — слово

Как давно вы держали в руках скрипку?

С тех пор, как сорок с лишним лет назад переехал в Нью-Йорк, я не открывал футляр со скрипкой, но она так и хранится у меня дома.

Несмотря на то, что вы закончили престижную Ленинградскую консерваторию, до этого школу при ней, потом начали аспирантуру, подавали довольно большие надежды, вы все-таки потом решили, что скрипка — не совсем ваше призвание. А с чего началась писательская карьера?

Я начал публиковаться с пятнадцати лет, сначала в рижской газете, потому что я родом из Риги. Это была первая «вечерка» в городе. Она выходила одновременно на русском и латышском языках. Когда газета поступала в продажу, за ней выстраивалась очередь. На углу, где я жил, был киоск. И я, проходя там вечером мимо очереди, думал: вот, почитайте и мою статечку.

Вы начинали с музыкальных рецензий?

Да. Самая первая статья была к юбилею музыковеда Бориса Асафьева, которого уже не было в живых, но чье семидесятилетие тогда отмечалось. Это была великая фигура в советском музыковедении, сейчас его имя немножко подзабыли. Я с этой статьей даже не объявился сам в редакции, чтобы они не испугались, увидев пятнадцатилетнего юнца, а передал ее через знакомую. И только когда они опубликовали уже несколько моих статей, я там появился. С этого и началась моя журналистская карьера. А потом я печатался в других газетах в Риге, а позже в Москве и Ленинграде.



Соломон Волков в экспериментальной студии камерной оперы (ЭКМО) при Ленинградской консерватории, 1968 год

Для меня настоящим дебютным моментом была рецензия в ленинградской газете на первое исполнение Восьмого квартета Шостаковича. Это была очень важная веха в истории советской музыки. Квартет был необычный, автобиографический. Моя рецензия на него оказалась первой, и это как бы заложило основу для моего последующего знакомства с Шостаковичем. Мне было тогда шестнадцать лет.

Никогда не жалели, что бросили карьеру скрипача?

Совсем нет. У меня много друзей-концертирующих музыкантов. В Ленинграде со мной в одном классе учились Владимир Спиваков и Марис Янсон, знаменитый дирижер. В Риге я учился в одной школе с Гидоном Кремером. И я до сих пор с ними дружен, мы встречаемся, когда они бывают в Нью-Йорке с выступлениями. Помимо их выдающихся музыкальных дарований, меня поражает и восхищает в них психологическая и физиологическая сила. Для того, чтобы быть концертирующим музыкантом, надо обладать какой-то невероятной внутренней энергетикой, мне абсолютно не свойственной.

Посиделки у Ахматовой

Вы — один из немногих живущих сейчас на земле, кто общался с Анной Ахматовой. Расскажите, как вы, тогда юный скрипач, решились ей позвонить и предложить приехать с квартетом? А она взяла и согласилась, даже не зная вас...

Поэзией я увлекся с самых юных лет и вполне самостоятельно. Моя мама, которая окончила рижскую русскую гимназию, иногда читала мне наизусть какие-то стихи, кстати, по тем временам, необычные: Брюсова, Сологуба. Но уже про Ахматову и Заболоцкого я сам узнал, без всякой подсказки. Никогда не за-

буду, как пришел в Риге в книжный магазинчик, который был рядом с домом. Там можно было спокойно полистать книги. Я взял фиолетовый томик с именем Заболоцкого на обложке, тогда он еще был жив. Это последнее его прижизненное издание, до сих пор у меня хранится. Я начал читать, и эти стихи сбили меня с ног. Так Заболоцкий остался моей любовью по сей день. И с Ахматовой так же произошло. Никому не навязываю своих вкусов, но для меня она — Пушкин двадцатого века. В ее поэзии я всегда нахожу строчки, которые резонируют с моим сегодняшним настроением.

Знаю, вижу, что вы часто публикуете это в Фейсбуке.

Вот только что, прямо перед разговором с вами, я опять перечитывал по своим соображениям Ахматову. И опять поражался тому, как по мере того, как я взрослею, если не сказать старею, те строчки Ахматовой, которые она писала, будучи уже пожилой дамой, и которые я, может быть, недостаточно понимал еще десять лет тому назад, сейчас воспринимаю по-особому. Они резонируют, как будто продолжается ее разговор со мной.

Итак, вы ей позвонили. Она совершенно вас не знала и согласилась на то, чтобы вы приехали и поиграли для нее?

По-моему, у Довлатова эта история даже описана с моих слов. Я позвонил сначала в ленинградский Союз писателей и предложил сделать концерт в честь Ахматовой. Мне там сказали: «Зачем? У нас есть еще много хороших писателей. Давайте сделаем для всех». Я с сарказмом поблагодарил их и повесил трубку. Сейчас не помню даже, кто мне дал телефон Ахматовой. Мой звонок ее совершенно не удивил. Она сказала своим грудным, низким голосом: «Хорошо, я подумаю. Позвоните мне через два дня». Я эти два дня жутко волновался. Тогда я уже возглавлял струнный квартет в Ленинградской консерватории, был первым скрипачом. Было страшно, что она попросит сыграть, скажем, квартет Брамса, а у нас его нет в репертуаре. Но она захотела квартет Шостаковича, и это было невероятное везение. Потому что мы только что выучили и сыграли в присутствии самого автора его Девятый квартет. Он еще даже не был издан, мы его играли по стеклографической копии. Я безумно обрадовался, мне только оставалось уговорить своих друзей по квартету. Они об Ахматовой не очень много слышали. У виолончелиста нашего квартета, поляка Станислава Фирлея, учителем русского языка в консерватории была женщина, которая по совместительству являлась парторгом. Он пошел к ней узнавать, кто такая Ахматова, и та ему ответила: «Талантливая поэтесса, но на ее пути было много ошибок». Тем не менее, ребята мне поверили, поехали, и не пожалели.

Ахматова была одна на даче?

Она нас встретила в комнатке, в своей знаменитой «будке», одна. Мы сидели очень близко друг к другу, практически коленями упирались — такая была



*На даче у Ахматовой, 16 мая 1965 года. Слева направо: Соломон Волков, Виктор Киржаков, Валерий Коновалов (сидит), Анна Ахматова, Станислав Фирлей.
Фотограф Слава Осипов*

маленькая комната. Это был незабываемый день, 16 мая 1965 года. Пока мы играли, за окном разыгралась настоящая снежная буря, в середине мая! Это необычно даже для Ленинграда, с его непредсказуемой погодой. А когда мы закончили играть, то было абсолютно голубое небо и взошла радуга. Мы вышли на крыльцо, и она прочитала свое стихотворение про такой же снежный майский день, потом сказала, мечтательно поглядев куда-то вверх: «Вот если бы нас еще кто-нибудь сфотографировал!» «Анна Андреевна, — ответил я, — «А с нами как раз фотограф приехал!»».

Она взяла зеркало, прихорошилась, и с большой охотой с нами сфотографировалась. Я бы сам никогда не осмелился попросить ее о фотографии.

Вы ей потом подарили эту фотографию?

И ей, и Шостаковичу отдельно снимок Ахматовой подарил. И он у него хранился под стеклом письменного стола.

О чем вы беседовали в тот день?

После того, как мы сыграли, сели за стол, разговаривали, и она предложила выпить водочки. Ребята так оживились, но я на них цыкнул: еще чего, водку мы будем пить с Ахматовой! После этого я еще несколько раз к ней приезжал, уже один. Мы разговаривали на разные темы, в основном, связанные с музыкой.



С Машей и Мишей, 28 декабря 2013 года. Фото Анны Нельсон

Вы записывали ваши беседы?

Да, у меня есть записи, не на пленку, сам я диктофоном вообще не владею, не знаю, как его включать и никогда не научился. Этим занималась всегда Марианна, моя жена. Когда я возвращался от Ахматовой из Комарово на электричке в Ленинград, записывал от руки все, что запомнилось. И пока вот не было времени все это оформить и опубликовать.

Почему вы с Ахматовой беседовали о музыке, а не о поэзии?

Потому что я был музыкантом. Некоторые люди, знавшие ее, несколько пренебрежительно мне говорили: «Она, дескать, ничего не понимала в музыке». Это ерунда. Она делала очень пронципательные замечания о музыке, причем неожиданные, учитывая время, в которое она жила. Когда я приехал в 14 лет в Ленинград учиться музыке, то попал в окружение сверстников, многие из которых, в отличие от меня, к Шостаковичу относились свысока, считая его музыку отжившей. Когда Тринадцатую симфонию исполняли, никто из них не пошел. На премьерных его квартетов залы были полупустые, хотя сам Шостакович бывал на этих концертах, можно было пойти хотя бы ради того, чтобы на него глянуть. За пять минут до концерта можно было спокойно билет купить. Это сейчас задним числом все Шостаковичем восторгаются, а мне приходилось его защищать перед сверстниками. Появилась Одинадцатая симфония, многие музыканты кривили носы, а Ахматова сказала, что музыка эта звучит как облака на черном небе. Она поняла это гораздо глубже профессиональных музыковедов

Вы были на ее панихиде?

Я играл и на ее гражданской панихиде в Союзе писателей, и на даче в Комарово, в «будке». Там тоже была забавная история. Собрался семейный совет, решали, в том числе, какую музыку играть в Союзе писателей. Я предложил Баха. Но Лев Николаевич Гумилев, ее сын, запротестовал и сказал, что лучше выбрать кого-то из православных композиторов. Я говорю: «Давайте я тогда сыграю скрипичную сонату Прокофьева», на том и сошлись. И никто из нас тогда не знал, что Прокофьев не был православным. Он, еще живя в Париже, стал сайентологом. Это стало известно недавно, когда опубликовали его дневник. Так что, формально, он принадлежал к секте. Мы сыграли сонату Прокофьева на церемонии, а в «будке» играли Гайдна. Конечно, смерть Ахматовой была большим потрясением. И когда я о ней узнал, то упал на колени и зарыдал. Знакомая до сих пор об этом вспоминает. Это было горе. Как-будто ушел самый близкий человек.

Папка с личным делом Соломона Волкова – 1

Я знаю, что вы не отмечаете ни свой день рождения, ни другие праздники, но отмечаете день первой встречи с Ахматовой и день, когда Евтушенко дал согласие на телевизионный проект. Почему так?

Отмечаю 16 мая, день того концерта у Ахматовой, как важнейшее символическое событие в моей жизни, из которого потом выросли очень знаковые для меня идеи, мысли, переживания.

Новый год, Рождество, «День парижской коммуны», как говорил Райкин, это общие праздники. Какое отношение они имеют ко мне? Даже день рождения не считаю своим праздником, потому что я не принимал участия в своем рождении, это день моих родителей. И вот сейчас еще для меня важной датой является презентация фильма о Евтушенко в Москве, 16 октября 2013 года. Потому что это было началом нового периода в моей жизни.

Это что-то сугубо личное? Не хотите рассказать?

Жизнь человека, на мой взгляд, — это движение от одного кризиса к другому и преодоление этих кризисов. И для меня таким тяжелым кризисом были два года перед поездкой к Евтушенко в Талсу с режиссером Анной Нельсон и ее командой. Сейчас даже вспоминать об этом больно. Я бродил по Централ-парку в Нью-Йорке и думал о самоубийстве. Евтушенко и Аня вытащили меня из этой темной ямы.

А вы эти даты как-то отмечаете?

Я празднеств вообще не устраиваю, не в моей привычке. И юбилеев никогда своих до сих пор не отмечал.

И никто вас никогда не поздравляет с днем рождения, не приходит с подарками?

Нет, но ситуация изменилась после еще одного важного для меня события: в феврале 2013 года я завел страницу в Фейсбуке. Должен вам сказать, по значению я это сравниваю с переездом в Америку. Я очень серьезно к этому отношусь. Потому что я прожил здесь много лет в довольно замкнутом состоянии. При том, что встречался со всеми нашими замечательными деятелями: Бродским, Довлатовым, Барышниковым. Но все-таки, у меня было ощущение одиночества, которое я преодолел с помощью Фейсбука. На сегодняшний день у меня допустимый лимит друзей — 5000, и около 15000 подписчиков. Как это мне удалось, не знаю, при том, что я абсолютный «чайник» и до сих пор не разбираюсь в компьютерах. Когда мне исполнилось пятьдесят, в тот день мне не позвонил ни один человек. А вот на семидесятилетие через Фейсбук пришло около тысячи поздравлений. И я стараюсь каждого человека лично поблагодарить.

Виртуальная жизнь для вас важна. А вы не замечаете, что стали меньше из-за этого читать, общаться с реальными людьми?

Я уделяю Фейсбуку серьезное внимание и как минимум часа два-три каждый день там провожу. А читаю по ночам. И ложусь очень поздно, где-то в пять утра. Ну и встаю, соответственно, не так рано. И фейсбучное общение как раз мне очень подходит. Потому что оно одновременно может быть и интимным, и дистанционным. Ты можешь пять минут пообщаться с человеком через мессенджер и на этом закончить. Мне вообще, на самом деле, нелегко разговаривать с людьми. А Фейсбук в этом отношении очень удобный инструмент. Я вижу, что некоторым блогерам нравится вступать в полемику со своими друзьями и подписчиками. Я к этому совершенно не склонен и еще сторонюсь политических тем. И мои друзья, и подписчики эти правила приняли и соблюдают их. Я пишу исключительно про культуру, и мой тон очень часто шуточный. Если кто переходит границу, отправляется, как говорится в народе, «в бан».

А это вы себя называете Котом Базилио, от имени которого пишете шуточные строчки?

На самом деле, для меня Фейсбук стал таким квазидневником. Это дневник, в том смысле, что там отражается то, что я каждый день читаю, о чем думаю. И я придумал такую игровую маску — Кот Базилио, который как бы я, и не я.

А почему Кот Базилио?

Сначала это была пара: Кот Базилио и его подруга Лиса Алиса, это мои любимые персонажи из книжки о Буратино. Как-то я ее в очередной раз перечитывал и вдруг подумал, что было бы забавно под псевдонимом сочинять пародийные стишки. Потом Алиса отпала, остался один Базилио. И мне нравится такая игра. Никогда, между прочим, за собой не замечал страсти к стихоплетству, а сейчас

регулярно это делаю и получаю некоторое удовольствие. Судя по лайкам, моим френдам тоже нравится.

Чем же вас привлекает такой отрицательный персонаж?

Ну, это такой кот, который гуляет сам по себе, согласно Киплингу. И позволяет себе всякие вольности. Он пересмешиник, на самом деле.

Мемуары Шостаковича

Как вы познакомились с Шостаковичем?

Это случилось после моей первой рецензии на его концерт в 1960 году. Я был на мероприятии, где он тоже присутствовал, и кто-то представил меня ему. Он сказал: «Да, да. Я читал вашу рецензию». И добавил несколько одобрительных слов. В отличие от многих гениев, утверждающих, что они не читают рецензии и критику в свой адрес, Шостакович никогда не скрывал, что он в курсе всего, что касается откликов. А потом были два события, которые меня приблизили к нему. Я написал книгу «Молодые композиторы Ленинграда», в которой речь шла, в том числе, о его учениках, и попросил его написать предисловие, что он и сделал. По этой книге в Ленинградской консерватории изучали новейшую питерскую музыку, пока я не уехал в США. Тогда ее, конечно, запрятали в спецхран. Сейчас, вероятно, опять открыли, не знаю. А вторым событием стала постановка мною с близким другом, дирижером Юрием Кочневым, оперы «Скрипка Ротшильда», написанной любимым учеником Шостаковича Вениамином Флейшманом, убитым на войне. Это тоже загадочная история. До сих пор неясно, до какой степени Шостакович досочинил оперу. Формально он всегда говорил, что сделал только оркестровку, но у меня есть подозрение, что роль Шостаковича там большая. Я бы ее исполнял как сочинение Флейшмана-Шостаковича. После премьеры меня вызвал проректор Консерватории по научной работе и сказал, что мы этой постановкой «льем воду на мельницу мирового сионизма». И на этом нашу постановку прикрыли.

А беседы с Шостаковичем вы планировали изначально для журнала, в котором тогда работали или для себя лично?

Мы с ним думали, что их можно будет опубликовать и в журнале «Советская музыка», и издать книгой. Но это не получилось, потому что в итоге основной темой разговора стал Сталин. Я вообще не знал, куда эти разговоры заведут. Мне повезло: когда я переехал в Москву из Ленинграда, то попал на работу в журнал «Советская музыка», редакция которого находилась в том же самом здании, где жил Шостакович. А я приходил на работу обыкновенно раньше других. Раздавался звонок и в трубке я слышал: «Это говорит Дмитрий Дмитриевич Шостакович». Он всегда так представлялся. «Вы не могли бы ко мне заглянуть?» Я, конечно же, летел!



*С Д.Д.Шостаковичем.
Фото Марианны Волковой*

**И сколько таких бесед у вас с ним было?
Вы их записывали от руки?**

Встреч было много, я записывал их от руки. Шостакович бы даже не согласился на диктофон. Он сразу зажимался. Я видел несколько раз, как это происходило в Союзе композиторов.

Изначально Шостакович был не против опубликовать мемуары при жизни. Почему же в итоге сказал, чтобы книга увидела свет после его смерти?

Да, сначала он думал, что это можно будет опубликовать при жизни. Когда я заговорил об этом в журнале с главным редактором и в издательстве, они, услышав, что Шостакович затрагивает тему Сталина, категорически отказались. Имя Сталина в эти годы было табуировано. Не потому, что отношение к нему было негативным. А именно потому, что непонятно было, как к нему относиться.

А Шостакович был среди тех, кто реабилитации Сталина всячески противился. И когда он увидел, что в партийной верхушке сомневаются в том, как себя вести по отношению к Сталину, то понял, что книгу в Советском Союзе не издадут. Он уже был больным человеком, и проблемы были бы ему совершенно не под силу. Шостакович был уверен, что его имени и авторитета будет достаточно, чтобы позволить выразить свое отношение к Сталину. Сейчас, спустя годы, я подозреваю, что это и было основной идеей, из-за которой он сел со мной записывать эти разговоры. Таким образом, Шостакович хотел принять более активное участие в той подспудной закулисной борьбе вокруг имени Сталина, которая в тот момент происходила.

Почему он вдруг такой стал смелый? всю жизнь молчал...

Сталина он ненавидел с молодых лет. В отличие от многих других деятелей культуры. Сталин был гением зла, люди сейчас этого не понимают. Им кажется, что зло не может быть гениальным. Сталин обладал притягательностью Воланда. Посмотрите на отношение к нему Булгакова, Пастернака. Они все были в какой-то момент зачарованы этой фигурой. Шостакович же никогда не попадал под сталинский гипноз.

Но разве он не боялся Сталина и не скрывал своей ненависти?

Конечно, боялся. Боялись абсолютно все.

С друзьями он всегда был откровенен на эту тему. Я даже считаю, что он, в каком-то смысле, перегнул палку, считая Сталина малообразованной личностью. В своей книге «Шостакович и Сталин» я попытался прокомментировать это. На самом деле, как показывают недавно опубликованные документы, Сталин был человеком, которого занимала и привлекала по разным соображениям культура. И он умудрялся находить время и силы в самые страшные годы войны, для того, чтобы персонально заниматься самыми мелкими вопросами, связанными с культурой. И те, с кем он лично общался, вроде Булгакова и Пастернака, не избежали вот такого зловещего, гипнотического воздействия. Шостакович был исключением.

Тем не менее, Шостакович шел на компромиссы.

Не пойти на компромиссы в ситуации, когда за тобой персонально, как это делал Сталин, следит вождь, было невозможно. Когда говорят о компромиссах Шостаковича, забывают, что, скажем, Прокофьев написал в 1937 году кантату к 20-летию Октября, представляющую собой музыку, в частности, на текст Сталина. Кстати, сочинение замечательное: потрясающая музыка, которую можно и нужно играть, памятник эпохе, помимо всего прочего. И таких примеров можно привести много.

Судя по фотографиям Шостаковича, он, на мой взгляд, выглядит всегда каким-то сумрачным, загнанным человеком. Каким он был на самом деле?

Нет, что вы! Он обожал юмор, его можно было насмешить без особого труда. Он зажимался перед камерой, и очень редко можно увидеть на снимках смеющегося Шостаковича. Обычно он не смотрит в аппарат. А так, он обожал, наизусть цитировал, смеясь при этом, страницы из Гоголя, Чехова, юмористические рассказы Зощенко.

Вы эмигрировали в США в 1976 году и вскоре издали там книгу мемуаров Шостаковича. Можно сказать, что после выхода этой книги репутация композитора на Западе, да и не только, изменилась?

Знаете, если бы не было его гениальной музыки, то ничего изменить нельзя было бы. После его смерти я читал все эти некрологи. Обычно несогласные друг с другом ведущие американские издания в один голос писали, что умер ревностный, лояльный советскому режиму композитор и верный сын коммунистической партии. Сейчас такого не напишет никто, ни один человек. Книга, конечно, в каком-то смысле, этому помогла. Я благодарен судьбе, что так произошло.

Вы читали книгу Джулиана Барнса «Шум времени» о Шостаковиче? Ведь он частично опирался в ней на вашу книгу бесед с композитором.

Я узнал об этом лишь из его предисловия к книге. Мне это было очень приятно, и книга мне тоже понравилась. Удивительно, конечно, что книга английского писателя о советском композиторе стала бестселлером и в России тоже, я-то

всегда считал, что русский писатель должен был такое написать. Но никто за эту тему не брался.

Не секрет, что после выхода мемуаров Шостаковича некоторые музыковеды, композиторы, его вдова упрекали вас в том, что они были частично скомпонованы. Что Шостакович в те годы не стал бы подставлять семью, так открыто высказываясь о Сталине и своих коллегах. Каков ваш главный козырь в ответе этим людям?

Мой ответ: читайте и решайте сами. Книга существует уже почти 40 лет, и никуда не исчезла. Вот сегодня мне позвонил американский издатель, предложивший сделать ее электронную версию. Я уже не обсуждаю этот вопрос, потому что в итоге, все сводится к тому, прочел ты книгу или нет. Любое творческое сотрудничество в какой угодно области — сложная история. Простых книг, над которой два человека сотрудничали, не бывает. После знаменитых «Диалогов со Стравинским» Роберту Крафту, который эти диалоги записал, тоже предъявляли претензии. Так что меня это уже не волнует.

Темой вашей следующей книги стали беседы с Баланчиным. Вы, в самом деле, просто подошли к нему на улице Нью-Йорка и начали разговор?

Баланчин как раз тогда готовился к фестивалю Чайковского и у него появилось большое интервью на эту тему, в котором он высказал интересную мысль о том, что, хотя Чайковского принято считать романтиком, он, на самом деле, модернист. Для меня это было большой новостью. Как-то мы шли с женой Марианной недалеко от дома, и вдруг она мне говорит: «Смотри, это же Баланчин, иди, подойди к нему» — «Да ты что!» — «Подойди!» И я решился, представился, сказал, что мне невероятно интересно его мнение о Чайковском, что нас в Ленинградской консерватории учили иначе. Мы с ним полчаса на эту тему проговорили, и в конце беседы он мне вдруг сказал: «Ну, вот и напишите о том, о чем мы сейчас говорили, для буклета на наш фестиваль». А сам нырнул в мясной магазинчик. В итоге, буклет к фестивалю Чайковского открывался моей статьей.

А потом я написал Баланчину письмо. Зная, что он не любит говорить о себе и своем творчестве («Господь бог творит, а я всего лишь произвожу культурный товар для публики»), я предложил ему сделать книгу о Чайковском для русских детей. «Когда вы учились в балетном училище в Петербурге, вам, наверное, хотелось про Чайковского что-нибудь интересное почитать, но такой возможности не было. А мы с вами сделаем такую книжку. И я вам обещаю, что детишки в Ленинградском балетном училище будут засыпать с ней под подушкой», — так я ему написал. Вскоре мне позвонила его секретарша и сказала, что Баланчин согласен. Последние наши встречи были уже в госпитале, где он лежал при смерти. В палате стояли ширмы, за одной из них сидела его секретарша. Я, естественно, никогда туда не заглядывал. Позже секретарша сказала, что он был такой счастливый всегда после этих встреч! Закончили мы беседы незадолго до смерти, выхода книги он уже не застал.



С Джорджем Баланчиним. Фото Марианны Волковой

Откуда Баланчин знал столько интересных подробностей про Чайковского?

Он очень его любил и интересовался его биографией. Я приходил к нему с заготовленными карточками, на которые были выписаны отрывки из писем Чайковского или воспоминания, и читал ему их. А он начинал комментировать и получалось, что он как бы говорит о Чайковском, но в то же время, и о себе. В этом был успех моей задумки. Потому что, если бы я ему предложил сделать книгу о нем самом, он бы отказался.

Кстати, давненько я ее не перечитывал. Я вообще свои книги не перечитываю, только «Диалоги с Бродским» — в ней всегда нахожу что-то новое. Чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, сколько там всего спрятано. Бродский очень быстро стал.... Как бы это сказать...

Мудрым?

Да, стал немолодым мудрецом очень быстро. Из всех моих собеседников он был самый думающий. Его мозг, как какой-то раскручивающийся механизм, работал прямо передо мной. А я просто записывал за ним. Я ведь в каждом разговоре со своими героями был просто передаточным сосудом, поэтому все мои книги-беседы такие разные. С Шостаковичем в одном роде, с Баланчиним в другом, с Бродским — в третьем. Просто нужно было тщательно готовиться к разговорам. Однажды на встрече с Бродским случилась накладка, которая меня мно-

тому научила. Мы должны были говорить об Ахматовой. Я думал: он все знает об Ахматовой, я что-то знаю об Ахматовой. И не подготовился. И Бродский односложно мне отвечал на вопросы: был не в настроении. Это было полное фиаско. С тех пор я всегда приходил с десятком заготовленных вопросов, чтобы можно было поддержать диалог, если он вдруг «провиснет».

Вы были на похоронах Баланчина?

Был, его отпевали в русской православной церкви на Манхэттене. Пришли все его бывшие жены, это была такая умирительная сцена! Они все целовались, обнимались, не было никаких конфликтов с желанием доказать, кто из них «настоящая вдова». У него же была замечательная история с завещанием. Он вообще не собирался его оставлять, говорил: «Я грузин, буду до 120 лет жить». А ему адвокат посоветовал: «Если с вами что-то случится, все ваши балеты перейдут вашему брату, живущему в СССР, а значит, советскому государству». Тогда только он согласился, а брату оставил две пары золотых часов, чтобы у того не было причин оспорить завещание. Балеты же свои он распределил на 18 бывших жен и подруг. Теоретически это был рецепт для полной катастрофы. Представьте себе: восемнадцать артисток! Но во главе всего он поставил свою секретаршу, а она создала образцовый фонд, в котором сосуществуют мирно все эти восемнадцать женщин, и никогда у них не было ни одного конфликта и ссоры.

А вот когда умер Прокофьев, две его жены претендовали на наследство. И это все разбиралось на бесконечных заседаниях. Шостакович приходил оттуда усталый, злой. И говорил дома: «Если вы такое устроите после моей смерти, то я буду к вам призраком приходить».

Почему вы говорите, что из всех ваших собеседников Баланчин самый гениальный?

Потому что он, как Моцарт, творил непрерывно. У него не было никогда творческих кризисов. Анна Андреевна долгие годы не писала и очень по этому поводу переживала. У Шостаковича тоже бывали творческие заторы по несколько лет. Бродский мне жаловался, что когда не пишется, повеситься можно! Единственный человек, у которого не было никаких проблем с сочинением, это Баланчин. Это раз. И еще. Все эти люди сейчас уже — символы эпохи. Но вы посмотрите на их условную иерархию в мировой культуре и в своем жанре. Шостакович на сегодняшний момент входит в пятерку или десятку крупнейших композиторов двадцатого века. Ахматова лично для меня номер один, но в общемировом списке гениальных поэтов, конечно, она не в самом первом ряду. Бродский на сегодняшний момент очень высоко стоит в России, но на Западе его немножечко подзабыли. А вот Петипа и Баланчин — это два величайших хореографа всех времен и народов за всю историю балета. У балета, конечно, не такая длинная история, но тем не менее.

Папка с личным делом Соломона Волкова – 2

Когда слушаешь вашу беседу с Евтушенко, проникаешься к нему симпатией. Особенно, когда он говорит про конфликт с Бродским. Порой до слез жаль его. А когда читаешь диалоги с Бродским, понимаешь его чувства и логику, и хочется встать на его сторону. Как вы балансировали среди их конфликта?

Я никогда не садился за беседу с человеком, который меня не интересовал, и к творчеству которого я не питал бы симпатии и интереса. Евтушенко я прочел, и он произвел на меня громадное впечатление, задолго до того, как я увидел первые самиздатские стихи Бродского. И я продолжал следить за творчеством Евтушенко. Когда мы разговаривали с Бродским, он довольно отрицательно высказывался и про Евтушенко, и про Вознесенского, с которым у меня тоже были очень хорошие отношения. Я возразил Бродскому, что у Евтушенко и Вознесенского есть очень хорошие стихи, и тогда он сказал: «Да, да! Я по двести-триста строк каждого из них знаю наизусть!» Запомнить столько стихов поэтов, которых ты ругаешь, — это показательно. И тот факт, что я не срейфил перед лицом Бродского, Евтушенко как раз очень оценил, поэтому он потом ко мне и обратился. Довлатов на первые публикации моих «Диалогов с Бродским» удивился: «Как это Волкову удастся возражать мэтру нашему, ведь он этого ужасно не любит». Но как-то обошлось. В итоге, Евтушенко высказал мне свое мнение, а Бродский — свое. Я всегда цитирую в таких случаях слова моего друга художника Гриши Брускина: «Истина кипариса не отменяет истины яблони». Пускай читатели рассудят, кто в этом споре был прав, кто виноват. Конечно, это две совершенно разные фигуры. Но оба по-своему остались памятниками эпохи.

Вы обычно даете своим героям тексты на заверение?

Шостакович прочел свою книгу, Бродский тоже, у меня есть пометки, их немного, он что-то подправил стилистически. Баланчин умер, прочитать не успел. Он был рад, что можно по-русски поговорить простыми словами о любимом композиторе и заодно о себе. Он там много понарасказывал, чего при других обстоятельствах другим людям бы не сказал. Поэтому эту книгу постоянно цитируют исследователи Баланчина.

А почему вы почти не пишете об американской культуре? Не ведете беседы с американскими деятелями культуры?

Я в хороших отношениях, в основном, с американскими композиторами и исполнителями. И напечатал небольшие интервью с некоторыми из них, например, с легендарным Джоном Кейджем. Но, вы знаете, это не мое. Несмотря на то, что я здесь больше сорока лет живу, настоящие корни в американской культуре я не пустил. У меня есть еще какие-то замыслы, и все они связаны с русской культурой.

Но вы никогда не пожалели, что уехали?

Нет! Что вы! Если бы не уехал, то не было бы никакого Соломона Волкова. Мне ни одной книги не удалось бы опубликовать!

Почему?

Потому что помешали. Собственно, мой переезд и случился из-за того, что я обещал Шостаковичу, что напечатаю его мемуары.

Но потом началась перестройка, и смогли бы.

Тогда я бы ни с Бродским, ни с Баланчиным не познакомился. Хотя, возможно, удалось бы сделать диалоги с другими. Меня иногда спрашивают, с кем бы я хотел, но не сумел сделать беседу, и ответ людей удивляет: с Тихоном Хренниковым. В России выпустили его книгу воспоминаний, но там десятая часть того, что он знал. А он мог бы многое понарасказать!

У вас ведь в архивах много интересных неопубликованных бесед хранится!

С Юрием Любимовым, Анатолием Рыбаковым, Маей Плисецкой, Владимиром Горовицем, Лилей Брик, Эрнстом Неизвестным, Арамом Хачатуряном, знаменитым танцовщиком Александром Годуновым, из более современных — с Юрием Шевчуком.

У меня руки не доходят до всего. Дай Бог, может быть, еще получится.

В интервью Владимиру Познеру, буквально на самой последней минуте, в его коротком опроснике вы ответили, что никогда не испытывали счастья, что вы несчастный человек. Вы не признаетесь, почему? Это депрессия?

Нет, это не депрессия. Просто у меня нет воспоминаний о счастливых днях. Наверное, когда я родился, кто-то вырезал у меня функцию, которая может делать человека счастливым. На самом деле, я должен был бы сказать Познеру, что не знаю, что такое счастье.

А поездка к Ахматовой?

Это же напряжение! Какое же это счастье? Это концентрация, это волнение. Но такого ощущения, чтобы я чувствовал себя «счастливым», не было никогда. Никогда.

А на этапе, когда выходят ваши книги?

Облегчение. Но не счастье.

Ну, может, это и есть счастье?

Ну, если назвать это счастьем...

А что такое счастье тогда?

Я не знаю, что такое счастье. Когда мне люди говорят: «Я был счастлив», я не понимаю, что это такое.



С женой Марианной Волковой, август 2018 года. Фото Григория Брускина

Ну вот когда вы влюбились в свою Марианну, это не было счастьем?

В конце концов, да, но это был такой долгий процесс. Я семь лет за ней ухаживал, пока, наконец, не получил согласия стать моей женой. Я ей многим обязан, конечно. Всеми своими книгами. Да, задним числом это, вероятно, можно назвать счастьем. Не знаю...

Еще в одном интервью вы признались, что в течение десяти лет сильно пили. Во-первых, почему вы об этом не стесняетесь говорить, а во-вторых, что это был за период? Почему?

Мы пили вместе с Марианной. Это называлось у нас «сбить фокус». С утра начинали и выпивали в день по пол-литра коньяка на двоих.

У меня печень потом два раза сильно сдавала. И тогда я перестал, очень испугался. Я ходил согнутым. Ну, а потом, знаете, печень же восстанавливается. Первый раз она восстановилась, я решил, что все в порядке и возобновил. Когда она во второй раз меня подвела, тогда я решил, что точно хватит. А стесняться тут нечего.



С Иосифом Бродским. Фото Марианны Волковой

Диалоги с Бродским

С Бродским вы ведь не были близкими друзьями, даже вообще не были друзьями, верно?

Друзья — вообще особая категория, и я всегда, если меня представляют другом Бродского или Евтушенко, протестую, потому что ни с одним из моих героев я не был другом, за исключением Владимира Спивакова. С ним нас связывают 55 лет дружбы и сотни часов разговоров. А с остальными каждый раз было сотрудничество по конкретному проекту.

И легко было Бродского уговорить на такие встречи-диалоги?

Да, он сразу согласился. Я люблю повторять свою незамысловатую идею, что такого рода проекты как брак: тебе кажется, ты выбираешь жену, а это она тебя выбрала. И то же самое с героями. Мне каждый раз кажется, что я нахожу какого-то человека, с которым было бы невероятно интересно поговорить, а на самом деле, они, постоянно окруженные людьми, которые хотели бы сделать с ними интервью, пообщаться, уклоняются, пока не находят идею и человека, с которым эту идею можно осуществить. У меня уже немалый опыт, и он подсказывает, что сначала у творца должна созреть идея, которую он хочет сообщить миру, она может быть полностью сформирована, или частично, а потом он начинает обду-

мывать и выбирать, с кем бы этот проект реализовать. И иногда я и оказываюсь этим самым человеком в нужное время в нужном месте.

А чего хотел на тот момент Бродский?

Я каждый раз стараюсь находить, как мне кажется, привлекательную идею для бесед: так было с Баланчиным, и примерно так же получилось с Бродским. Сначала я ходил на его лекции в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Там он выкладывался невероятным образом перед американскими студентами, которые что-то понимали, а что-то нет, и это нормально. Когда он рассказывал про Ахматову, Мандельштама, Цветаеву, они многое не улавливали. И даже что-то не улавливали, когда он говорил об англоязычных поэтах, любимых им Одене, Фросте. Каждая его лекция была напряженным событием. Конечно, у него уже были заготовки, но это во многом была импровизация, как всякая импровизация Бродского, очень насыщенная, и требующая колоссальной концентрации со стороны слушателей. Я сказал Иосифу тогда, что хотел бы сохранить что-то из его лекций для потомков, для российской молодежи, и его эта идея, очевидно, увлекла. Он собирался ложиться на операцию, думал о смерти, он о ней постоянно думал, это было в его стихах, но бывают обострения, и в тот момент он очень над этим «завис».

Мне очень понравилось, как в предисловии к «Диалогам с Евтушенко» режиссер Анна Нельсон написала, что она, наблюдая за процессом, порой злилась, почему я не загонял Евтушенко в угол. Но если бы я так делал, хотя у меня вообще нет никогда такой мысли, то и Евтушенко, и любой другой мой собеседник, просто встал бы и ушел, и на этом бы весь разговор закончился. Если бы кто-то из них почувствовал, что я хочу вынуть из них «жареные» факты, то они бы прекратили общение. А так и Бродский, а до него великий скрипач Натан Мильштейн долгие годы со мной беседовали.

А где вы встречались?

Мы с Марианной всегда приходили к нему домой.

Ваши диалоги длились 18 лет! На каком этапе вы рассчитывали их закончить?

Все время же предполагалось, что мы закончим их его поездкой в Россию! А она все откладывалась. У Бродского были очень сложные отношения с идеей возвращения. И он никогда не дал внятного ответа на вопрос, почему он не вернулся. Всегда выдумывал новые поводы, говорил, что человек может вернуться на место преступления, но не может вернуться в любимые места. Собчаку, тогдашнему мэру города, он так подписал книгу: «Городскому голове от городского сумасшедшего». Собчак ему обещал особняк, персонального cardiолога, охрану, всевозможные блага! Но Бродский так и не собрался приехать. Было там что-то очень сложное, какие-то метания в душе, которые не позволили ему вернуться. И думаю, что для посмертного мифа о Бродском это сыграло существенную роль.

Это был человек, который уехал и не вернулся. Классическая модель подвига героя. Героя изгоняют с родины, он уезжает, борется, побеждает. Доказывает, что Отечество его недооценило, страдает, но побеждает. Заключительным триумфом было получение Нобелевской премии.

Легко с ним было общаться?

Нет, очень трудно. Я не знаю человека, который бы сказал, что это было легко. Я встречал нескольких женщин, которые так говорили и думали, но это потому, что там возникал какой-то романтический интерес. Каждое его второе слово сопровождалось отрицанием: «нет, Соломон». Меня это совершенно не беспокоило, я, по возможности, давал ему время, не прерывал, за исключением тех случаев, когда чувствовал, что надо все-таки вмешаться. Как в случае с Евтушенко. И тогда он, что самое любопытное, соглашался.

Почему вы Евтушенко расспрашивали о его отношениях с женщинами, а Бродского нет?

По ходу разговора ты начинаешь понимать, о чем можно и о чем нельзя говорить. Это даже не наблюдение, а литературоведческий штамп: стихи Бродского совсем не эротические, есть его знаменитое высказывание: «В русском языке любовь, как акт, лишена глагола» — у него любовь всегда очень интеллектуализирована. А Евтушенко, наоборот, было очень важно рассказать обо всех своих победах, и он на это был уже и нацелен. Поэтому странно было потом, после фильма, слышать упреки в том, что я не имел права спрашивать у него про Беллу Ахмадулину, о том, кто ее научил пить: я уже знал, что он был согласен отвечать на это, и меня эти вопросы действительно интересовали. На ранних снимках Белла — такая пышечка, совершенно не похожая на себя потом, можно даже не узнать ее вовсе, редкий человек так меняется, как она. С годами у нее стало сожженное лицо, она превратилась в трагическую фигуру. У Ахматовой, кстати, было не так. Она становилась более величественной, на лице у поздней Ахматовой не было трагизма, а у Ахмадулиной — совершенно трагическая маска. Я с ней был знаком еще в Советском Союзе. И уже тогда меня поразили рассказы о ее выходках в 70-е годы. Даже молодая Ахматова, которая тоже была по-своему достаточно вызывающей, на прямом фоне серебряного века, уступала ей в этом. Ахмадулина себя буквально сжигала, это было очевидно. И меня интересовало, как и почему это происходило.

Вы думаете, это началось из-за разрыва с Евтушенко?

Думаю, в ней были изначально заложены какие-то самодеструктивные импульсы, которые так повели ее по жизни. Но результатом стали замечательные стихи. За все надо платить...

Вы говорите, что стихи Бродского помогли вам лучше понять Запад и его культуру. Почему?

Для крупных творческих фигур типа Аксенова или Войновича процесс привыкания к жизни на Западе был очень сложным. У людей, сделавших себе имя еще в Советском Союзе, приключился страшный перепад: здесь их встретило почти полное отсутствие государственного интереса к ним. В СССР государство их преследовало, конечно, но это параллельно означало и внимание к ним, как ни парадоксально, и они привыкли себя чувствовать людьми, которыми интересуются на самом высшем уровне, вплоть до Генсека. А здесь все мы попали в полную изоляцию, и никого особо не волновало, писатель ты или поэт, или бомж.

И Бродский был человеком, который это осознал самым первым, и сформулировал это в стихах. И это было невероятно важным для моего выживания. Когда вышла записанная мной книга мемуаров Шостаковича, я имел глупость подарить ее одной из своих соседок по дому, так она после этого прекратила со мной общаться на пять лет! Потому что я вторгся в ее личное пространство. Я дал ей книгу о совершенно неизвестном ей человеке, музыкой она не увлекалась, но я же этого не знал, я не спросил ее, интересна ли ей музыка и эта книга. Дурак был. Люди здесь очень оберегают свои личные границы.

Это неприятное письмо, написанное Бродским в Квинс колледж, в котором он обращается к администрации не принимать на работу Евтушенко, который в свое время помог ему туда же поступить, точно принадлежит его перу? Как это выяснили?

Да, абсолютно. Он же вышел из Американской академии искусств, когда туда приняли Евтушенко, у него было резко отрицательное отношение к нему, и то письмо не было исключительной неожиданностью. Люди рассматривают факт написания этого письма как нечто странное, но это был естественный логичный поступок в ряду других его жестов в отношении Евтушенко.

А ведь это Евтушенко его в свое время туда устроил?

Вот опять тут такая сложная конфигурация личного и общественного, это всегда очень запутанный клубок. И этот клубок их развел. Все то, что Евтушенко рассматривал как благодеяние, Бродский рассматривал как совершенно ненужные ему услуги.

А у вас после этого не изменилось отношение к Бродскому? Вы же все равно считаете его благородным человеком?

Я часто цитирую подхваченную у Бродского фразу, которую он заимствовал у японца Акутагавы: «У меня нет принципов, у меня есть только нервы». Он был человеком эмоциональным, увлекающимся, это фигура невероятного масштаба. Если мы начнем судить людей по их отдельным поступкам, то в мировой культуре не останется вообще ни одного персонажа, к которому мы бы могли относиться с полной симпатией. Я не хотел бы иметь Пушкина своим соседом, чтобы он пытался соблазнить мою жену или брал бы деньги в долг и не отдавал, задирался

бы все время. Но Пушкин — наше все. Изменилось ли наше отношение к нему после публикации вересаевской книги о нем? Нет. А о Толстом, Достоевском? Про Ахматову появилось два тома под названием «Анти Ахматова». И там тоже: вот здесь она не так сказала, не так поступила. Здесь кого-то оскорбила, недооценила. Например, Ахматова буквально уничтожила, и делала это последовательно, осознанно, книгу и репутацию Георгия Иванова как автора мемуаров «Петербургские зимы». Я Иванова считаю одним из лучших русских поэтов двадцатого века. «Петербургские зимы» — замечательная мемуарная книга, которая, может быть, не всегда точно соответствует каким-то фактам, но в ней нарисованы десятки живых портретов людей той эпохи. Ахматова испугалась, что книга наносит ущерб ее репутации, и на несколько десятилетий стерла имя этого человека в порошок. В гораздо большей степени, чем это когда-либо сделал Бродский в отношении Евтушенко. И никто ей это в вину не ставил.

Но если бы вы на момент беседы с Бродским знали о том письме, вы бы у него спросили о нем?

Наверное, спросил бы. И было бы любопытно услышать, каковы его объяснения.

А он бы от такого вопроса не ушел, не закрылся?

На такие вопросы он отвечал. Типичный для Бродского ответ: «А вы представляете, что было бы, если бы кто-то из этих двух, Евтушенко или Вознесенский, получил Нобелевскую премию?» Потому что в представлении Бродского, это бы означало, что для всей русской поэзии 20 века было бы задано неправильное направление. Ему поэзия этих двух деятелей страшно не нравилась. Мне она нравится, не полностью, так же, как и у Бродского нравится не все. Но я бы не хотел играть в детскую игру: кого оставить, кого убрать. Мне было бы жаль расстаться с каждой из этих фигур.

А он впервые именно в диалогах с вами публично озвучил свою неприязнь к Евтушенко?

Да, но потом он все это многократно подтверждал. И главное, что на сегодняшний день по всем воспоминаниям картина эта достаточно ясная. И никто ее не оспаривает. Ни с одной, ни с другой стороны. Это как ссора Льва Толстого с Тургеневым. Или как антагонизм Чайковского и Мусоргского. Это факт истории отечественной культуры, смиримся с ним.

В последние годы по всем соцсетям распространился не очень известный стих Бродского о независимости Украины — очень неприятный, националистический, унижительный, я бы даже сказала. Как вы к нему относитесь?

Ну, это типичный Бродский. Если у него получалось хорошее стихотворение, что-то эмоционально побуждало его написать «хороший стишок», как он сам выражался, то все остальное уже было вторично. Какие-то сомнения он явно испы-

тывал по поводу данного стихотворения, поскольку при жизни никогда его не печатал. Но ведь впоследствии, после смерти Бродского, появилась серия статей, в которых пытались доказать, что это не его пера дело. Хотя есть видео, где он сам это стихотворение читает. Поскольку это как-то бросало тень на прогрессивную репутацию Бродского, возникли попытки доказать, что он не мог написать такое. Не мог-не мог, а написал. Это точно так же, как говорить, что прогрессивный Пушкин не мог написать «Клеветникам России». Или «Бородинскую годовщину», свои ультрапатриотические стихи.

Мне кажется, в наши дни с таким стихотворением ему бы не дали Нобелевскую.

Вероятно. Но тогда, если вы вспомните, президент Буш-старший призывал ту же Украину не раскачивать лодку и чуть ли не оставаться в составе Союза.

Вы знали, до своих бесед с ним, что он работал в морге в свое время?

Не знал. Это было очень интересно услышать. Он, в частности, обмывал трупы. Свидетельствует о сильной натуре, правда?

Диалоги с Евтушенко

Как известно, Евтушенко сам обратился к вам с предложением сделать с ним диалоги. Сначала он вам позвонил?

Сначала позвонил, потом написал. Сказал, что хочет сделать беседы в духе Эккермана, записавшего знаменитые разговоры с Гете.

Сказал ли он сразу, что хочет про Бродского поговорить?

Прямым текстом нет. Но сразу было озвучено, что он хочет со мной поговорить, потому что я заступился за него перед Бродским. Подразумевалось, что мы поговорим обо всем. Вероятно, его главной целью было все-таки поговорить о Бродском. Я предлагал ему диалоги когда-то давно, он не хотел, просто не откликнулся. Это было еще до диалогов с Бродским. Я же с Евтушенко поддерживал отношения все время, что жил в Америке. А познакомился еще в Советском Союзе, хотел интервью с ним сделать, но его было нереально застать, он все время путешествовал. Я собирался сделать это для журнала «Советская музыка», он же был популярным автором многих песен. Так что была тема поговорить. И, кстати, разница между Бродским и Евтушенко еще и в том, что если на стихи Бродского есть несколько песен, то на стихи Евтушенко их целый массив. Это колоссальная часть его наследия, не зря же он завещал, чтобы на его похоронах была исполнена песня «Со мною вот что происходит». Он понимал, что песни на его стихи — значительная часть того, что будут помнить после его смерти.



Евгений Евтушенко и Соломон Волков в перерыве между съёмками, 2 декабря 2012 года. Талса, Оклахома. Фото: пресс-служба Первого канала

А с ним, в отличие от Баланчина и Бродского, вы решили говорить напрямую о нем и его жизни?

Так это было заявлено с его стороны, что это будет как исповедь. Он предложил мне сделать книгу, а я обратился к режиссеру Анне Нельсон, которая связалась с Первым каналом, и те дали добро на телевизионный фильм.

А почему он столько лет хранил в себе эту обиду, не хотел высказаться раньше?

Ситуация обострилась после появления книги «Диалоги с Бродским». До этого конфликт был приватным делом, о нем знали немногие люди. После книги он стал публичным. Евтушенко стали задавать об этом вопросы на встречах. И это стало ему досаждать.

Кстати говоря, на вас он не затаил обиду после тех диалогов с Бродским?

Было дело. Когда вышла книга, то мы встречались на каких-то мероприятиях, пока жил в Нью-Йорке, и я чувствовал некоторое охлаждение. Меня это задевало.

Несмотря на то, что он сам вам позвонил, хотел исповедь именно с вами, Анна в предисловии написала, что отношения у вас были довольно прохладные.

Я всегда избегал, избегаю, буду стараться избегать какого бы то ни было фамильярничества с героями. С Ростроповичем я делал несколько интервью, он убеждал называть его Славой, но я себе этого не позволял. Барышникова Мишей

не могу тоже звать, он для меня всегда будет Михаилом Николаевичем. «Называй меня Женей, — говорил Евтушенко, — и на ты», но я именовал его только Евгением Александровичем. Ну как я мог называть его Женей! Это делают люди, которые хотят продемонстрировать свою близость к знаменитым. Мне это не надо, и мне это тягостно и неприятно. Это входит в понимание того, что наши отношения — отношения профессиональные, мы должны довести до конца тот проект, который затеяли. Я очень приватный человек, и для меня любое общение — это напряжение.

Вы такой замкнутый, интроверт по натуре, но беседы с людьми стало делом вашей жизни. Вам приходится каждый раз себя как бы выталкивать из зоны комфорта?

Мне трудно, на самом деле, общаться с людьми. Но я каждый раз делаю это усилие, и потому буквально каждая такая встреча меня оставляет совершенно без сил. Я после этого неделю прихожу в себя. Кстати, когда я Довлатову сказал, что во время бесед с Бродским у меня шла кровь носом от напряжения, он ответил: «Вот здорово, а я думал, что это я один такой слабак».

Если начну рассказывать детали о своем подорванном здоровье после недели в Талсе с Евтушенко, будет не очень приятно слышать. В полет я забыл взять с собой беруши, вышел с адской болью, на два дня потерял слух, что там дальше творилось, это неаппетитные детали.

И Евтушенко же не меньше страдал. Он уже был очень больной, из носа и ушей у него во время ваших бесед шла кровь...

У него кровь, у меня кровь. Это был ужас. Я боюсь путешествий, полетов. Если бы не совершеннейшая необходимость, сидел бы вообще дома, «не выходил из комнаты» по завету Бродского. Путешествие для меня — убийство. Меня совершенно не интересуют ни природа, ни архитектурные достопримечательности, жутко утомляюсь от этого. И я совершенно неприспособленный в быту человек: у меня до сих пор нет банковской карты, мобильного телефона, книги пишу от руки, с компьютером не на ты, даже ремень безопасности в такси сам не могу пристегнуть. И, поверьте, я не кокетничаю. Меня самого эта беспомощность бесит. Но против собственной физиологии не попрешь.

А Евтушенко впервые в вашем фильме высказал публично свое отношение к тому письму?

Думаю, что да. Быть может, где-то еще раньше он об этом уже упомянул, но так основательно высказался в тот раз.

Вы думаете, он Бродского простил?

Ему бы хотелось подружиться с ним. Но не вышло. Может, они там, наверху, подружатся.

Как вы думаете, справедливо ли считать Евтушенко поэтом одной эпохи, а Бродского — поэтом в глобальном смысле?

Я полагаю, они поэты одной и той же эпохи. Но они воплотили разные стороны этой эпохи. Своей эпохи нельзя избежать. Просто Бродский, действительно, диаметрально противоположен Евтушенко. С другой стороны, многие этого не замечают: если посмотреть на ранние стихи Бродского, то там, среди влияний Слуцкого, Маяковского и других, есть и влияние Евтушенко. По-другому и не могло быть. И когда человек говорит: я помню двести-триста строк Евтушенко наизусть, то это и есть свидетельство того, что это где-то в нем отпечаталось и отозвалось. Но, в итоге, они олицетворяют, даже с точки зрения чисто эмоциональной, два полюса: один — душа нараспашку, и отклик на каждый чих текущей политической жизни, а другой — невероятная сдержанность и склонность к философским обобщениям. Но при том, есть у Бродского отклики на афганскую войну, на независимость Украины, есть несколько других очень сильных политических стихов. Он не замыкался от политики.

Я не знала лично ни Бродского, ни Евтушенко, но чисто интуитивно, если бы у меня была какая-то проблема, обратилась бы, скорее, к Евтушенко, чем к Бродскому.

Пожалуй, так. Но, с другой стороны, помню, когда я пожаловался Бродскому, что у меня кровь носом шла от напряжения, он сразу стал предлагать мне своих хороших врачей. То есть, он мог и откликнуться. Я ведь даже и не просил его о помощи.

Вообще, их обоих буквально разрывали на части. Меня всегда потрясало, как известные люди выдерживают то количество бесконечных просьб, по делу и нет, которые на них обрушиваются. И Бродский ведь существенную часть своей нобелевки раздал друзьям.

Что сам Евтушенко сказал про фильм?

Он был немного ошарашен бурной реакцией. Когда мы беседовали, в моем лице у него был внимательный симпатизирующий слушатель, ему казалось: все, что он говорит, ясно и понятно, вызывает сочувствие и симпатию. Но после фильма считанные люди высказались одобрительно, были же такие страшные отзывы: «Повесить его на березе!» Я до сих не пойму, чем это было вызвано. Когда мы представляли фильм в Москве, еще до выхода на экраны, Евтушенко уже ампутировали ногу, так вот, когда известие об операции пришло, комментарии были ужасные: «Жаль, что не голову отрезали». Людская злоба порой зашкаливает, я раньше в жизни с этим не сталкивался, а теперь увидел благодаря соцсетям. И мне трудно поверить, что до такой степени нравы ожесточились. Думаю, такое было всегда, просто не становилось мгновенно общественным достоянием. Люди на кухне и раньше судачили и судили, хотя там таких потасовок, как в интернете, не было. Ведь на кухне ты сидел среди своих.

Художник и власть

Почему вас так интересует эта тема?

Это еще из детства. Все собирали в детстве солдатиков, или марки, моя же первая коллекция была с фотографиями Сталина из газет: меня всегда интересовало, каким образом правители взаимодействуют с культурой.

Почему советская власть такое большое внимание уделяла литературе и искусству? Это свойственно всем диктаторским режимам?

Это особенность правителей России. Культура России всегда была тесно увязана и интегрирована с государственными идеями. На Западе это все очень разделено. Здесь можно поэту замечательно прожить всю жизнь, и никакой государственный деятель им не заинтересуется. А в России очень рано правители начали проявлять особый интерес к культуре и старались поставить ее на службу своим политическим и государственным целям. Иван Грозный был человеком, который сам писал, интересовался современной культурой, так что, можно от него отсчитывать эту тенденцию. Екатерина Вторая тоже очень культурой интересовалась, но круг ее личного общения ограничивался придворными. Первым человеком, который вывел свой интерес к культуре за пределы узкого круга, был Николай Первый. Он лично общался с Пушкиным, Гоголем, у которых были ничтожные чины. Не будь они великими талантами, у них не было бы возможности встретиться с самодержцем. А он по собственной инициативе с ними разговаривал, ставил под свой контроль и пытался поставить их творчество на службу своим идеям. В этом смысле, он — ролевая модель для всех правителей России. В особенности, и это моя личная идея, которая постепенно находит развитие уже в четырех моих книгах, Николай Первый был скрытой моделью для Сталина.

До вас никто эту идею не высказывал?

Никогда. Эту связь игнорировали. Вот сейчас, после моей книги о Большом театре, ее начали принимать. По-моему, это очевидно. Другое дело, что Сталин, в отличие от выражения симпатий к Ивану Грозному и Петру, к Николаю Первому их открыто не высказывал. Даже наоборот, винил Николая в смерти Пушкина. Но поведение Сталина показывает, что Николай был для него образцом. Он даже был в постоянном соперничестве с ним. Николай создал классическую русскую оперу, Сталин пытался создать классическую советскую оперу, которая была бы выражением его идей, но ему не удалось это, в отличие от Николая. В итоге, такой оперы, как «Жизнь за Царя», которую Николай получил от Глинки, Сталин так и не дождался.

Вы же в курсе, что многим российским артистам, приезжающим в Нью-Йорк на гастроли, устраивают бойкоты за то, что они подписали письмо в поддержку политики Путина в Крыму и на Украине. Что вы об этом думаете? Должны ли мы разделять творчество этих людей и их личные поступки?

Право людей на демонстрацию своих политических взглядов не подлежит сомнению, но это должно оставаться в пределах цивилизованных норм. Мне кажется, лучший способ выразить свое негодование — не пойти в концерт, не купить книгу данного автора. Но приходиться и оскорблять его — действие, которого можно избежать. Потребитель может бить рублем, бойкотировать неугодного ему артиста в материальном плане, это его право. Но не лезть на сцену и топтать там выступающего ногами, как это когда-то сделали во время выступления Евтушенко в Канаде. Ему тогда переломали несколько ребер.

Думаете, у российских деятелей культуры не было выбора?

Не забывайте, что многие из них руководят большими коллективами, несут ответственность за других людей, и шаг влево, шаг вправо скажется неизбежно не только на их личной судьбе, но на сотне, иногда тысячах других судеб.

Так что, это не свободный выбор. Это все та же трагедия художника в России. Мало что изменилось в отношении художник-власть со времен Николая и Сталина?

Это всякий раз проблема для того, кто это решение принимает. Россия всегда была, есть и останется на обозримое будущее страной, где общественная фигура неизбежно втянута в политические передраги. Это очень осложняет их жизнь и часто создает для каждого из них мучительную ситуацию. Это трагедия.

Вы не говорили об этом с Гергиевым, которого тоже бойкотируют, и с кем у вас были телевизионные «Диалоги»?

Нет, ни с ним, ни со Спиваковым. Это их личное дело. Я всегда в таких случаях думаю: как бы я поступил? И сказать, что на их месте я был бы героем, не могу с уверенностью. Я счастлив, что мне не приходилось в жизни сталкиваться с такой дилеммой. В этом смысле моя жизнь здесь — благословение, потому что никто от меня здесь этого не требует. И это то, что, в частности, так нравилось Бродскому. С одной стороны, государство тобой не интересуется, с другой — с тебя ничего и не требует.

Книга о Большом посвящена Майе Плисецкой. Она успела почитать отрывки из нее?

Она и читала, и слушала. Я ведь давно начал работу над книгой. У меня происходили регулярные телефонные разговоры и с ней, и с ее мужем, композитором Родионом Щедриным. Они были моими главными слушателями и оценщиками. Теплое отношение этой уникальной супружеской пары ко мне — большая честь и удача моей жизни.

Сталин был меломаном. Гитлер — художником. Многие злодеи и диктаторы были увлечены искусством. И мы считаем, что оно облагораживает. Не преувеличиваем ли мы его значение?

Не так много, кстати, и было таких среди диктаторов. Сталин и Гитлер — исключения, и тут обнаруживается родственное между ними. На этот счет моя жена когда-то хорошо ответила по поводу одного нашего общего знакомого, о котором я сказал: — Он же христианин, как он может так поступить. Она парировала: — А откуда ты знаешь, как бы он поступал, не будь он христианином. Может, иголки под ногти загонял?

Папка с личным делом Соломона Волкова – 3

Что самое важное в искусстве беседы? Если бы вели мастер-класс, чему бы учили?

Первое: никогда не встречайтесь с теми, кто вам самим неинтересен, кому вы не симпатизируете. Это будет конфронтация, а не диалог. Второе: тщательно готовьтесь к беседе. И уповайте на удачу.

С кем из уже ушедших людей искусства вы бы хотели побеседовать?

С каждым из них, но есть люди, которые меня особенно волновали и интересовали. С Пушкиным было бы интересно, и меня еще всегда Блок интересовал, тоже далеко не безупречный человек. О Хренникове я уже упоминал, это особый случай. Он очень многое знал. И с ним навсегда ушли многие «тайны мадридского двора». Жаль.

А из ныне живущих?

У меня уже почтенный возраст, мне проще иметь дело с человеком, которого я давно знаю, за чьим творчеством и чьей судьбой слежу. Так у меня всегда и получалось. Я по многу лет знал всех своих героев.

С Барышниковым никогда не хотели?

Он очень закрытая фигура, у него ни с кем особо не получалось диалогов. Знаю одну американку, которая начала писать его биографию, опубликовала фрагменты, и на этом все прекратилось. На сегодняшний день большой биографии Барышникова не существует. Есть книга покойного Геннадия Шмакова, для него это было нелегким опытом, я слышал это от него лично.

Есть у вас кумиры в искусстве беседы и интервью?

Для меня, как для всех, кто этим занимался, главным образцом был уже названный мною Роберт Крафт, сделавший диалоги со Стравинским. Счастлив, что мне довелось его знать, и что он благосклонно откликнулся в печати на мемуары Шостаковича и мои беседы с Баланчиным. Он был интересной, странной фигурой. Не думаю, что очень счастливой.

Вы сказали, что каждый когда-нибудь в жизни думает о самоубийстве. И Анна Нельсон в предисловии к «Диалогам с Евтушенко» тоже об этом обмолвилась, рассказывая о вас.

Да, это моя постоянная тема для размышлений. Это нормально, по-моему. Ничего нет в этом экстраординарного.

Вы не удовлетворены жизнью?

Я не боюсь конца жизни как таковой, я боюсь связанных с этим болей, мучений, этого хотел бы избежать. Был бы рад, если бы в США была разрешена эвтаназия. Многие мои знакомые против нее, но я сторонник. К сожалению, сейчас для этого надо лететь в Швейцарию.

Эмигрант — это особый человек? Эмиграция ломает людей?

Безусловно. Я видел счастливых эмигрантов, но то, что эмиграция оставляет неизгладимый шрам на людях творчества, и не только, это факт.

Потому что они уезжают из своей языковой среды?

Они уезжают из своего детства. А детство впитывает в себя все главное для будущей жизни.

Есть что-то общее у эмигрантов третьей волны?

Нам повезло в том, что мы, уезжая, думали, что это навсегда, и мы будем отрезаны от своей страны, но стали первыми, для кого эта ситуация изменилась. Хотя и представители первой, и второй волн эмиграции иногда возвращались, но для многих из них это обернулось трагедией. Как хорошо, что сейчас люди могут свободно перемещаться. Так было не всегда. Об этом надо помнить.

*Беседовала Ольга Смагаринская, специально для журнала «Этажи»
Нью-Йорк, ноябрь 2018*